



ПОЖИРАТЕЛИ ГРАВИТАЦИИ



ЭДУАРД СЕРОУСОВ

Эдуард Сероусов

Пожиратели гравитации

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Пожиратели гравитации / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Карл Хансен — отец гравитационной энергетики и создатель орбитальной станции Мельница-1, двадцать лет дарившей трём городам дешёвый свет. Однажды ночью он замечает дыру в гравитационной волне — словно кто-то откусывает кусок от ткани мира. Море выгибается против отлива, над приморским городком повисают в воздухе люди, Луна сползает с орбиты. Карл понимает: причина — он сам. Его машина случайно настроилась в фазу с чужим, эоновым процессом и стянула медленную галактическую эрозию в недели. Чтобы остановить катастрофу, нужно войти в фокус и не выйти. И там его ждёт дочь.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Сигнал, которого нет	5
Часть вторая. Эпицентр	9
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Эдуард Сероусов

Пожиратели гравитации

Часть первая. Сигнал, которого нет

— Я достала тебе место, — сказала Мира, и из-за задержки её голос дошёл до него на две секунды позже, чем шевельнулись губы на экране. — Старт через три дня. Двадцать лет «Мельнице», будет вся пресса. Но это неважно. Я просто хочу, чтобы ты прилетел.

Карл Хансен слушал дочь. И смотрел, как кто-то откусывает кусок от гравитационной волны.

Сигнал шёл к нему через половину наблюдаемой Вселенной — два чёрных тела сошлись и слились в одну точку миллиард лет назад, и предсмертный звон их слияния докатился наконец до детектора в подвале его дома: чистый, затухающий, как голос колокола в пустом соборе. Карл смотрел на такие звоны десять тысяч раз. Он знал их наизусть. Амплитуда падает по гладкой экспоненте, виток за витком, всё тише, пока не растворится в шуме. Так устроена кризиса. Так устроено затухание. Так устроен мир.

Сегодня в гладкой экспоненте была дыра.

Не шум, не сбой аппаратуры — он отличал шум от сигнала, как мать отличает плач своего ребёнка от чужого. Это было что-то третье. Кусок волны, который должен был там быть, отсутствовал. Энергия, которой полагалось затухать виток за витком, просто исчезла — словно колокол прозвонил, а потом кто-то на полузвоне накрыл его ладонью.

— Папа.

— Я слушаю, — сказал Карл.

Две секунды. Он успел увидеть, как меняется её лицо ещё до того, как услышал ответ. Задержка делала ложь беспомощной: между его словами и её реакцией всегда оставалась эта щель, светоносная пауза в две секунды, и в ней было видно, что он опоздал.

— Нет, — сказала Мира. — Ты не слушаешь. Ты опять смотришь на что-то.

Он мог бы соврать ещё раз. Он умел. Двадцать лет он врал хорошо — себе в первую очередь.

— У меня тут аномалия в данных, — сказал он вместо этого, и сам услышал, как жалко это звучит. — Прости. Это важно.

— Это всегда важно. — Она не злилась. Хуже — она устала. — Ладно, пап. Забудь про старт. Я не должна была.

— Мира...

— Спокойной ночи.

Экран свернулся. Две секунды спустя он бы успел сказать ещё что-то, но говорить было уже некому — связь со станцией закрылась, и в комнате остался только зелёный свет развёртки и остывший кофе, в котором плавало его отражение.

Карл сидел неподвижно. За окном лежало море — чёрное, тяжёлое, с белой строчкой прибоя у самой кромки. Он построил этот дом на берегу двадцать лет назад на деньги, которых тогда ещё не было, в долг под имя, которого тогда ещё не было. Он любил смотреть, как приходит прилив. Вода знала своё дело: Луна тянула, океан поднимался, всё было честно. Гравитация — единственная сила, которая не лжёт о расстоянии.

Он опустил взгляд обратно на экран.

Дыра в волне никуда не делась. Он прогнал запись ещё раз, замедлил, развернул в спектр. Энергия не рассеялась — рассеяние оставило бы след, грязный хвост в высоких частотах. Энергия не ушла никуда. Её просто не стало. Как если бы в законе сохранения, на котором стоит

всё мироздание, кто-то проделал маленькую аккуратную дырочку и через неё вытекло ровно столько, сколько было нужно, и ни джоулем больше.

Карл вынул из кармана логарифмическую линейку — старую, алюминиевую, с потёртой шкалой — и провёл большим пальцем по бегунку. Туда-сюда. Он делал так с тех пор, как себя помнил: думал руками. Человек, который wearопизировал экраны всего мира, не доверял экранам, когда дело становилось серьёзным.

На тыльной стороне левой ладони у него был старый ожог — выцветший, давний, в форме неровной запятой. Линейка прошла по нему, как всегда. Карл не заметил. Он смотрел на дыру в звоне умершего колокола и впервые за много лет чувствовал то, чему не было физической величины: что-то холодное поднималось из-под рёбер, и линейка не помогала.

✱

Сорён Адлер никогда не потел.

Это было первое, что Карл подумал, когда лицо директора возникло на стене кабинета утром: безупречный воротник, безупречный загар, ровно столько седины, сколько внушает доверие, и ни волоском больше. Адлер сидел в кадре так, будто кадр построили вокруг него.

— Карл. — Он улыбнулся. Адлер всегда называл его по имени, будто они были друзьями; они не были. — Через три дня большой день. Двадцать лет. Я хочу, чтобы ты был на станции, перед камерами. Народу нужно лицо. Не модель, не цифры — лицо человека, который дал им свет.

На столе у Карла стояла эта модель — стеклянная «Мельница-1» в палец высотой, подарок к какой-то годовщине, кольцо внутри кольца внутри кольца. Сквозь неё проходило утреннее солнце и ложилось на стол радужным пятном. Карл смотрел на радугу и не отвечал.

— Я подумаю, — сказал он наконец.

— Тут нечего думать. — Голос Адлера остался мягким, но в нём проступила арматура. — Цены на энергию опять поползли вниз — благодаря тебе. Три новых отвода вводят в строй к зиме. Люди должны видеть, что человек, который это начал, всё ещё с ними. Ты не цифра в учебнике, Карл. Ты — обещание.

Карл повернул линейку в кармане.

— У меня странности в данных, — сказал он. — Гравитационные волны по всей сети ведут себя... неправильно. Энергия исчезает. Не рассеивается — исчезает. По всей системе, не локально. Я хочу, чтобы это посмотрели прежде, чем...

— Флуктуация. — Адлер не дал ему договорить, и не грубо, а почти ласково, как взрослый поправляет ребёнка. — У вас, у физиков, всегда флуктуации. Помнишь, в позапрошлом году была история с дрейфом частоты? Полгода паники, а оказалось — термальный шум в кабеле.

— Это не термальный шум.

— Я уверен, что это что-то столь же скучное. — Адлер чуть подался вперёд, и стекло модели поймало его отражение — два Адлера, внешний и в кольце «Мельницы», одинаково спокойные. — Послушай меня, Карл. Не сейчас. Не перед юбилеем. Дай мне три дня хорошего настроения у целой страны, а потом изучай свои флуктуации сколько влезет. Я даже выделю тебе людей. Хорошо?

Две секунды задержки не было — Адлер сидел в том же городе, всего в часе езды. И всё равно между ними была щель, и в этой щели было видно, что директор не услышал ни слова.

— Хорошо, — сказал Карл.

Он соврал. Он умел.

Экран погас. Карл остался один с радужным пятном, которое ползло по столу вслед за солнцем, и с данными, которые никуда не делись. Он смотрел на стеклянную модель долго. Кольцо внутри кольца внутри кольца. Он сам её придумал — эту геометрию, этот вложенный резонанс. Самая красивая вещь, которую он сделал в жизни. И где-то наверху, в трёхстах вось-

мидесяти тысячах километров отсюда, эта вещь, уже не стеклянная, размером с городской квартал, тихо гудела на орбите, и внутри её колец работала его дочь, с которой он не сумел поговорить десять минут.



К полуночи он испробовал всё.

Он прогнал аномалию через каждую модель, какая была под рукой: стандартное затухание, рассеяние на тёмной материи, инструментальные артефакты, дюжину экзотических гипотез, которые сам же когда-то и зарубил в рецензиях. Ничего не сходилось. Дыра в волне не лезла ни в одну формулу. Энергия исчезала так, будто пространство-время в этой точке переставало быть собой — будто кривизну отсюда кто-то вычерпывал.

Была одна модель, которую он не прогнал.

Она лежала в дальнем углу архива, под паролем, который он не набирал двадцать лет. Папка называлась просто — фамилией. Рядом, в шкафу, стояла картонная коробка с распечатками, которую он перевозил из дома в дом и ни разу не открыл: он не мог её выбросить и не мог в неё заглянуть, и так она и ездил за ним, заклеенная, как маленький гроб.

Карл сидел перед заставкой с фамилией и не вводил пароль.

Он помнил почерк, который был в той коробке. Острый, быстрый, на полях каждой распечатки — её пометки, восклицательные знаки, стрелки. Они были похожи, он и она: оба думали руками, оба не верили чистым экранам, оба писали на полях. Когда-то это казалось ему доказательством родства умов. Потом — поводом для жалости. Теперь он не знал, чем это было.

Он помнил фотографию, которая лежала где-то в той же коробке: они вдвоём, молодые, в лаборатории, она смеётся, он серьёзен, как всегда. У края снимка — бутылка, и Карл, когда вспоминал этот кадр, всегда инстинктивно отодвигал её взглядом за рамку, как она сама отодвигала её при жизни, когда замечала чужой взгляд.

Он помнил запись её голоса в этой папке — последний рабочий журнал, который она ему прислала. Он открыл его один раз, давно, услышал первые слова и закрыл. С тех пор не трогал.

Карл закрыл глаза. Открыл. И сделал то, чего не делал двадцать лет: набрал пароль и прогнал свою аномалию через её старую, осмеянную, публично растоптанную модель — ту самую, из-за которой её перестали печатать, ту самую, которую он сам разнёс в зале на четырёх человек так блестяще, что зал аплодировал, а она вышла, не дослушав.

Модель сошлась с первого раза.

Не приблизительно. Не в общих чертах. Дыра в волне легла в её формулу, как ключ в замок: форма, глубина, спектральная подпись — всё, что он наблюдал сегодня вечером, она предсказала. Двадцать лет назад. На бумаге, исписанной острым быстрым почерком. Она написала, какой именно будет рана на теле гравитационной волны, когда — она так и сформулировала, он помнил эту фразу, над которой смеялся весь зал, — *когда река выйдет из берегов*.

Карл сидел очень тихо. Линейка лежала рядом, он её не трогал. Под рёбрами снова поднимался холод, и теперь у него было имя.



Он не смог остаться в доме.

В три часа ночи Карл вышел на берег. Воздух был солёный и неподвижный, небо без луны — она ещё не взошла, — и только прибой шуршал в темноте, ровно и привычно, как дыхание спящего. Он спустился к самой воде, к мокрой полосе песка, чтобы холод под ногами заглушил тот, другой холод внутри.

Он стоял и смотрел в черноту, где было море, и постепенно понимал, что слышит что-то не то.

Прибой шуршал не оттуда.

Карл замер. Двадцать лет он засыпал под этот звук и знал его, как знал собственный пульс: волна набегаёт, шипит по гальке, откатывается. Набегаёт справа, откатывается влево — так лежал его берег, так шёл фронт. Сегодня было наоборот. Вода набегала слева. И — он сделал шаг вперёд, ещё, носок ботинка ушёл в мокрое, — вода не откатывалась. Она поднималась. Медленно, неправильно, против всякого отлива, чёрная полоса прибоя ползла вверх по пляжу, к нему, в гору.

Взошла луна — раньше срока, не в той части неба, слишком большая, с рыжим больным ободом. Её свет лёг на воду, и Карл увидел, наконец, своими глазами то, что весь вечер видел только на экране.

Море выгибалось.

Не штормом — штиль стоял мёртвый, ни ветерка. Сама поверхность воды вспухала горбом там, где никакого горба быть не могло, тянулась куда-то вбок и вверх, будто весь океан кто-то осторожно потянул за невидимую нить. Прилив шёл не за луной. Прилив шёл за чем-то другим. Где-то наверху, в трёхстах восьмидесяти тысячах километров, в кольце внутри кольца внутри кольца, что-то откусывало кривизну прямо из ткани мира — и вода на его берегу, послушная, честная, не умеющая лгать о расстоянии, тянулась туда, к источнику, в гору, мимо его ботинок.

Чайки кричали в темноте — много, разом, не своими голосами. Карл стоял по щиколотку в воде, которая шла не туда, и держал в кармане бесполезную линейку, и был, наверное, единственным человеком на этом берегу, на этом побережье, на этой планете, кто точно знал, что сейчас происходит и почему.

Он знал, чья это река.

И начинал понимать, кто перегородил её.

Часть вторая. Эпицентр

К утру он перестал быть человеком и стал инструментом.

Карл не спал. Он стянул в подвал данные со всей сети детекторов — своих, чужих, государственных, тех, к которым у него ещё был доступ по старой памяти и старому имени, — и разложил по экранам сотни записей за последние недели. Везде была дыра. В одних местах — крошечная зазубрина, едва над шумом; в других — рваный провал, будто из волны вырвали половину. Он отметил каждую: где детектор, в какую сторону смотрел, когда поймал рану.

А потом он построил карту.

Всенебесная развёртка развернулась перед ним — привычная сетка координат, по которой он всю жизнь читал небо. Он стал наносить раны на неё, точку за точкой, в цвете: бледно-розовым там, где слабо, густо-багровым там, где сильно. И небо начало расцветать.

Сначала ему хотелось, чтобы это было случайно. Если случайно — то это шум, флуктуация, как сказал Адлер, и можно дышать. Карл смотрел на россыпь точек и искал в ней хаос, как другой человек ищет в облаках лицо матери — потому что очень нужно, чтобы оно там было.

Хаоса не было.

Точки складывались в сферу. Не разбросанные кляксы — правильная, концентрическая структура: чем дальше детектор смотрел от одной невидимой области неба, тем бледнее была рана; чем ближе наводился — тем багровее. Раны выстраивались оболочками, слой за слоем, как годовые кольца на спиле, и все кольца сходились к одному центру. Где-то там, в одной точке Солнечной системы, кривизну вычерпывали — а отсюда, во все стороны, расходилась воронка убыли, и он, Карл Хансен, стоял на её краю и смотрел в горло.

Он откинулся в кресле. Линейка ходила в пальцах туда-сюда.

Сфера. Центрированная. Растущая — он сравнил карту недельной давности с сегодняшней, и багровое пятно в сердце развёртки заметно набухло. Это была не флуктуация. Это была не катастрофа из учебника, которая случается за миллион лет. Это что-то начало работать недавно, набирало силу с каждым днём, и у этого был адрес.

Карл начал считать, где центр. И впервые в жизни поймал себя на том, что нарочно считает медленно.

✱

Городок назывался так же, как сотня других на этом побережье, и Карл проехал бы его не глядя, если бы не сводка: «локальная потеря веса, квартал у воды, эвакуация». Он развернул машину, не дослушав, — не из милосердия, а потому что инструменту нужны были данные, а данные были там.

Он не доехал до оцепления. Бросил машину за два квартала и пошёл пешком сквозь толпу, которая текла навстречу, прочь, с тем особым молчанием, какое бывает у людей, увидевших то, для чего у них нет слов. Никто не кричал. Все шли быстро и смотрели под ноги, будто боялись, что земля под ними тоже передумает их держать.

Он вышел к перекрёстку и остановился.

Воздух над улицей был полон вещей.

Городской автобус висел в трёх метрах над асфальтом, лениво поворачиваясь вокруг своей оси, как игрушка на невидимой нитке. Из распахнутого окна тянулась занавеска — не вниз, а в сторону, застывшая, будто нарисованная. Над мостовой плавала вся обыденная тρέбуха жизни: чей-то рюкзак, кроссовка, рассыпанные оранжевыми звёздами апельсины из опрокинутого лотка, мобильный телефон, который висел на уровне глаз и светился, и всё ещё, кажется, звонил, и звонок уходил в пустоту. Стайка детских воздушных шаров не поднималась и не падала — просто стояла в воздухе, как гроздь. Лужа поднялась с асфальта и висела линзой, и в ней дрожало небо.

И люди.

Их было трое или четверо в самом пятне — не успели выйти. Женщина в дверях подъезда вцепилась обеими руками в косяк, и ноги её плыли вверх, медленно, нелепо, как у пловца; она не кричала, она держалась, и костяшки её были белыми. Мужчина чуть дальше неловко кувыркался в воздухе, отталкиваясь от пустоты, и пустота не отталкивала в ответ. У бордюра, в полуметре над землёй, парил ребёнок лет шести — просто висел, раскинув руки, и смеялся. Смеялся, запрокинув голову. Для него это была невозможная, восхитительная игра: мир отпустил, и можно лететь.

Карл стоял на краю пятна, на твёрдой земле, и не мог сделать ни шага. Не потому что боялся за себя. Потому что понимал — лучше всех на этой улице понимал, — что это, и что будет дальше.

Карман нулевого веса — это не невесомость космонавта, не свободное падение. Это место, где кривизну вычерпали локально, где ткань мира на минуту распустилась и перестала тянуть. Но она не исчезла насовсем. Дыра в законе сохранения затягивается. Кривизна возвращается. И когда она вернётся — она вернётся вся, разом, в одно мгновение.

— Не двигайтесь! — закричал он, и собственный голос показался ему чужим и слабым. — Не отпускайтесь! Держитесь за что-нибудь, держитесь крепко...

Женщина в дверях повернула к нему лицо. Она не понимала. Никто не понимал, кроме него.

Пятно схлопнулось.

Это не был звук — это был удар по всему телу разом, по барабанным перепонкам, по глазам, по нутру. Вес вернулся в одно мгновение, как захлопнувшаяся книга. Автобус рухнул с трёх метров и сел на оси с железным криком, по которому пошла гулкая дрожь. Апельсины ударились об асфальт все вместе, как картечь. Лужа обрушилась дождём. Телефон разлетелся. Ребёнок, который смеялся, упал с полуметра, и смех оборвался коротким, страшным, взрослым звуком. Женщина в дверях успела вцепиться — её бросило вниз вдоль косяка, ободрало ладони до крови, но она удержалась и осталась лежать на пороге, скуля. Мужчина, который кувыркался, был выше всех — метрах в четырёх. Карл закрыл глаза прежде, чем тот долетел до земли. Звук всё равно дошёл.

Потом стало очень тихо.

Карл стоял на твёрдой земле, и земля держала его, как держала всегда, и в этой надёжности было теперь что-то невыносимое. Он достал линейку и сжал её так, что бегунок впился в ладонь, в старый ожог. К ребёнку уже бежали. Карл не двинулся с места. Инструмент в нём, холодный, продолжавший работать, когда человек в нём отказал, отметил направление, в котором за миг до схлопывания дёрнулись все стрелки на его карманном анализаторе: они качнулись разом, все, в одну сторону неба. Туда же, куда сходились кольца на его карте. Туда, наверх.

✱

Он вернулся домой затемно и наконец открыл её голос.

Он не планировал. Он сел в подвале, не сняв пальто, и долго смотрел на заставку с фамилией, а руки сами набрали пароль и нашли в архиве последний журнал. Палец завис над воспроизведением. На тыльной стороне ладони ожог саднил от линейки. Карл нажал.

Она появилась на экране — и была моложе, чем он её помнил. Вот что ударило первым, ещё до слов: память состарила её вместе с ним, дорисовала ей его двадцать лет, а запись их не знала. На экране сидела женщина лет сорока с небольшим, в мятом лабораторном халате, с темными кругами под глазами и той особой резкостью в лице, которая бывает у людей, говорящих правду, которую никто не хочет слышать. У края кадра, на столе, стояла бутылка. Женщина на записи мельком, привычно, не глядя, отодвинула её рукой за рамку. И снова придвинулась к камере.

— Журнал девятнадцатый, — сказала Ева Рейес. Голос был ниже, чем он помнил, и суше. — Для тех, кто будет потом. Если будет.

Карл не дышал.

— Я не буду больше про политику и про то, кто прав. — Она усмехнулась, без веселья. — Это бессмысленно. Я про физику. Слушайте внимательно, потому что я скажу один раз, а времени у меня, как выясняется, немного. — Бутылка снова вкралась в кадр; она снова, не глядя, убрала её. — Гравитационный поток — не пустая река. Мы все думаем о пространстве-времени как о неподвижной декорации, как о сцене, на которой что-то происходит. Это неверно. Это среда. У неё есть течения. Кривизна перетекает, связывается, держит на себе все орбиты в галактике, как вода держит флот. И там, где есть течение, — она наклонилась ближе, — есть и те, кто его пасёт.

Она говорила долго. Карл слушал, не шевелясь, и человек, осмеявший её на четыреста голосов, и инструмент, считающий сферу, слушали вместе и оба понимали одно: каждое слово сходилось. Она описывала структуры — она называла их без пафоса, рабочим словом, *мельницы*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.